

К

нига кулинарных рецептов в моих руках, кстати, — классика жанра, хоть и моложе меня, но уже носит заметный отпечаток времени. Грустно, но что поделать! Это показатель того, как стремительно уходит все сущее от даты рождения в известную печаль старости.

Вот и уголки обложки этой книги от частого употребления уже пообтрепались, бумажные листы обрели специфические отметины в виде жирных пятен, карандашных пометок и просто закладок между листами — обрывков сильно пожелтевших тогдашних газет. Прочтешь несколько полуоборванных строк и будто в ином мире побываешь — в том, до боли нашем, знакомом!

Потому и люблю я просматривать страницы этой книги. Она возвращает меня в состояние далекого детства, моего времени, тогдашнего домашнего обихода. Чувства трудно пересказать, да и зачем — у каждого свое представление о сути вещей вчерашних и сегодняшних. Зачем к чему-то взывать, навязывать кому-то свое виденье? У каждого если не в доме, так в памяти хранятся приметные вещи. И мы, немало прожившие, как скряги-меломаны ставим иногда свою самую дорогую пластинку на проигрыватель памяти и слушаем ушедшее, еще и еще раз роняя украдкой ностальгическую слезу, не зная о чем, и благостно становится так, будто ливень большой пролил и очистил душу.

Открываю наугад. Страница 219, раздел «Макароны». Приготовление блюд из макарон, — повествует пособие, — отличается простотой...

Еще бы! Тогдашние картофельно-огуречно-капустные будни хорошо дополнялись праздниками макарон. С устройства держателя фитиля керогаза снималась прокопченная фигня с множеством отверстий по периферии, поворачивалась ручка регулятора, приподнимая бачок с керосином выше уровня фитиля, поджигался спичкой фитиль, и... либо керогаз через минуту выбрасывал синеватый кружок пламени и уютно ворчал, либо вспыхивал весь столбом высокого красно-желтого пламени. Бывали и трагедии — пожары. Тогда били в рельс, и валили толпы народу с ведрами к полыхающей соломенной крышей избе. Мы, пацанва, разинув рты, замирали: языки пламени с могучим, далеко слышимым треском, щелканьем и гулом закручивались над кровлей и, оторвавшись от нее, уходили высоко в небо черно-серым столбом дыма. Панические крики и суматоха добавляли напряжения тревоги. От плескания из ведер, передаваемых от колодца по цепочке, толку было очень мало. Криков много. Хозяйку, одуревшую от горя и ужаса, держали. Она рвалась из рук, истерично и прерывисто что-то выкрикивая. Догорающие головешки заливали, затапывали. Зрители и участники тушения потихоньку расходились. Потом долго из конца в конец деревни перекатывалось: «А вот когда Манюркины горели...»

Потом горел «девятый завод» — так на деревне прозвали подворье кутивших деревенскую водку. Как-то враз Манюркиных деревня забыла, детально, при свете керосиновой лампы, вечерами обсуждался пожар «девятого завода» с однозначным выводом — самогон гнали, тем избу и спалили. И — так им и надо! Советские трудящиеся были государственниками, причем очень-очень завистливыми государственниками. Зависть подогревалась властью с лозунгами равенства строителей коммунизма. Партийные собрания и собрания трудовых коллективов изобиловали разоблачениями. Пропагандировали разоблачения наши ультрапатриотические фильмы.

Но вернемся к нашим макаронам. Макароны сначала отваривали в воде, потом обжаривали в постном масле на сковородке. Ох, и вкус же получалась! Особенно, когда исхитришься подцепить исподнизу макаронину с коричневатинкой, чтоб на зубах похрустывало. Но кончаются макароны, и опять картошечка до следующего праздника. Ведь для картошечки никакие книжки не требовались. Летом ее отваривали в мундирах на костерке в большущем чугуне. Мое пацанинское дело — насобирать дровишек и вовремя подкладывать. Варили всем сразу: на семью и на поросенка. Чистили, с руки на руку перебрасывая и дую, крошили крупно в миску, лучок (зеленый лучше вприкуску), соли и постного маслаца добавляли — слюну шибало только так! С квасом вприкуску мятая картошечка хорошо шла. Зимой, чаще всего по утрам и вечерами, ели картошку жареную, а если выпадало со шкварками, да огурчик вприкуску с россольным укропчиком на боках, то куда там до той картошечки макаронам!

В текст рецепта вставлена картинка: посудина с ручкой и множеством отверстий — дуршлаг. В домашнем хозяйстве тогда такой штуки не водилось. Да и куда б ее было деть? Кухонной утвари отводился крохотный шкафчик на стене, а вся кухня — тесное пространство у плиты, отгороженное фанерной перегородкой, едва вмещавшее корыто — постираться

и помыться. Зимой и это пространство занимал теленок на соломе. А макароны слить было проще простого. Тряпочки в руки, чтоб не обжечься, сдвинул немного крышку, прижал ее через тряпочки к кастрюле и сливай в лохань на пойло корове.

По окончании уроков в школе лип ко мне дружок Витя, по прозвищу Дровяной. Пацаны его так прозвали из-за фамилии. Дровянниковы жили за полем, километрах в двух, во впадине. Эта впадина чуть ниже соединялась с другой и поворачивала влево. Там проходила дорога, которую называли «через пады» — наверное, в смысле через впадину. А так, общиходливо: «На падах ноне травы хороши!» — говорили мужики, или: «Талой водой совсем на падах дорогу размыло». Значение впадины затерялось, название места осталось: Пады да Пады...

Так вот идем, бывало, с Витей через поле по тропинке, и вдруг как-то сразу открывается луговина с двумя крытыми под солому хатушками внизу. В одной — жили Витя с мамой и бабушкой (отца у него не было), в другой — поодаль — весь черный, как жук, железнодорожник. В черной форме, с черным картузом и разноцветными флажками на поясе, в черной кирзе футляра, в черных кирзовых сапогах — Шапоренко.

Мне казалось, что все железнодорожники должны были быть Шапоренки, потому что выглядели одинаково — раз, а еще фамилия его, на мой взгляд, была созвучна слову «шпала» — пропитанной креозотом бревнине для укладки под рельс. Два домика в лощине назывались хутором Меркулов.

На мои дурацкие вопросы про отца Витя не без бурной фантазии, почти таинственно повествовал: «Он на самолете летал, немцев из пулемета сверху — тра-та-та-та-та... бил! А потом самолет заглох и упал. Бензин в нем кончился». Чуть позже я догадался о вранье Вити — мы ж родились с ним спустя три года после войны.

Лип он ко мне после школы — кушать хотелось потому что. До дома идти далеко, до меня — близко. Ждала меня или сковорода с макаронами, или с жареной картошкой. Мы почему-то хохотали над каждой мелочью и ели прямо руками со сковороды...

Прошли годы. Как-то летом вышагивал я по своей деревне отпусником, вдруг нос к носу... с Витей! Он, восторженно меня оглядев, тут же мне про свой любимый КАМАЗ, про дорожные приключения все рассказывал, рассказывал. Про макароны вспоминали, школу и одноклассников вспоминали...

Уже потом я от других услышал: подвернулся домкрат под КАМАЗом, и он медленно-медленно многотонной тушей оседал на Витю — потому что долго скреб Витя землю руками и ногами. Следы остались. Лежит теперь мой дружок где-то в земле сырой... Над чем мы тогда хохотали так весело? Над каждой мелочью хохотали! И зачем-то пытались вспомнить-понять: почему ели макароны прямо со сковороды руками? О, Боже!

РЫБА

По своей питательности рыба не отличается от мяса, — утверждает книга кулинарных рецептов. Ну и ладно. Только что ж там, в памяти, с рыбой-то связано?

С Япончиком, сыном Тихона косорукого, по прозвищу Тишанка, мы немного поддружились. Как соседи по парте, как одноклассники, как все

со всеми поддруживали, особо дружелюбностью не выделяя. Относился я к нему настроенно, зная по слухам историю его отца. Поговаривали, что промышлял он когда-то воровством. То в одном селе видели Тишанку с краденым, то в другом. Но сколько веревочке не виться... — подкараулили его мужики Малиновские, говорят, на воровском деле. Подняли за руки, за ноги и уронили. Опять подняли, опять уронили. Подбросили так несколько раз и отпустили. Пожелтел Тишанка, посерел и согнулся, но красть с тех пор перестал.

Жили они километрах в трех от нашей Лесополяны, на Боевом — хутор так называется. А вот фамилию и как звали приятеля тех лет забыл намертво... Япончик да Япончик...

Шестой урок в школе заканчивался поздно вечером. Детей с окрестных деревень было много, школа наша маленькая, довоенная вмещала не только малышню, но и здоровенных пацанов, не закончивших учебу во время войны. В перерывах между уроками затевали они в коридоре тяжелую возню-игру, стирая на свою одежду мел со стен. Разнять их могла только уборщица с веником — тетя Даша.

Занятия шли в две, а то и в три смены. Собирая с парты книжки-тетрадки, Япончик в том далеко пожаловался:

— Жрать по-волчьи охота, а тут еще переться по темноте до дома сколько! — и предложил: — Давай в буфет зайдем?

Я согласился.

Примечался наш буфет на всю округу был тем, что в деревянных бочках по железной дороге сюда привозили в почтовых вагонах пиво. Мужики-завсегдатаи, присолив край бокала с пивом, в один дух осаживали один и тут же брались за второй. Теперь, уже прихлебывая, вили словесную чушь «за жизнь». Наиболее острые вопросы разрешали кулаком — «в рыло». Если же удар был плохо рассчитан или недостаточен, добавлял «прокурор». Но чаще всего, тут же по-дружески вместе разрешали-таки конфликты. А меня разбирало любопытство: под какие же это шиши Япончик в буфет собрался? Деньги у тогдашней пацанвы в карманах редко водились, а если и водились, то медные двушки и трюшки для участия в игре бе-бе. Купить на них чего-либо стоящего, кроме конфет подушечками или надувного шарика, не получалось.

Лидка-буфетчица — так звала ее вся деревня — взглядом и кивком головы вверх спросила: что, мол, надо? Япончик, не долго думая, показал на стопку шоколадок за ее спиной в самом верху настенного шкафика — их никто не брал, и товар из-под рук буфетчица убрала подальше. Пока она, повернувшись к нам спиной, тянулась за шоколадкой, одна из селедок с тарелки на прилавке нырнула Япончику за пазуху.

— Не, не эту, — поправил Лидку-буфетчицу Япончик. — Вон ту, поменьше.

Она подала поменьше и назвала цену. Япончик поморщился:

— Я думал, маленькая меньше стоит, а за такую цену — нет, не пойдет!

Повернувшись, он спокойно пошел к выходу. Мне было очень жаль красивую, с бровями вразлет, обманутую так лихо Лидку-буфетчицу.

Почему-то тогда мне казалось, что красивых женщин обманывать грешно и даже нельзя, что они самые умные, что они самые честные и что все-все их достоинства связаны не только с их красотой, но и с красотой тоже — наградой божьей. При красивых женщинах я еще и потом долго терпелся, говорил глупости или дерзил.

Япончик на ходу открутил селедке голову, подцепил тушку обеими руками и разорвал вдоль так, что остался голый позвоночник с хвостом. Одну половину протянул мне. Селедка оказалась жирной и вкусной, но я, попробовав, вернул селедочный шмат Япончику...

Я думал о Лидке-буфетчице. И мысли мои, совсем не детские, заводили меня в туманные дебри! Хотелось прямо сейчас иметь женой Лидку-буфетчицу. Что бы это означало, я еще плохо представлял, но сказки в книжках — «Они жили долго и померли в один день» — намекали на хорошесть, виделось-представлялось это состояние наивысшим блаженством. В прошлом году четвероклассник Колька Паболков написал записку одной из двух наших красавиц класса Клавье Зубовой: «Выходи за меня замуш картох мы набрали целай погриб есть мачонай памидор многа капуста к симу коля паболков». Только повзрослев, я понял, что вопрос женитьбы Коля видел намного шире, чем я.

А у Лидки-буфетчицы уже был свой, настоящий, муж — с родинкой на щеке, по кличке Самец. Работал он где, нет — не знаю. Видел только, как катал он от почтового вагона к буфету бочки с пивом. Но это не работа, все мужики катали.

По несколько раз в году Самец уходил от жены к очередной «другой» жене, что не меняло его отношения к буфету. Он был всегда тут: то ли в толпе мужиков на улице, то ли с кружкой в руке внутри. Накушавшись чужих конфет у другой, он опять возвращался домой и, завалившись на свою, продавленную до пола лежанку, посылал Лиду к другой за вещами...

А Япончик, окончив восемь классов, как исчез тогда, так больше я его никогда не видел.

МЯСО

«Мясо — говядина ли, свинина или баранина — один из важнейших продуктов питания, обладающих прекрасными кулинарными качествами», — торжественно повествует книга. Ниже изображена туша без головы и конечностей, но с костной «начинкой» — схема сортового разрубка туши.

Мне, потомственной деревенщине от рождения, многое сохранила детская память: и забой, и разделку, и обработку туши, и целый праздник с приглашенными «на печенку». Как-то незаметно тогда отходили на второй план и предсмертные вопли поросенка, и короткий мык оглушенного обухом топора меж рогов бычка, и тяжелая возня мужиков с агонизирующим животным, чтоб и кровь сошла как надо, и остальные процессы завершились правильно.

Покончив с первоочередным, мужики садились за стол. Дальнейшее — засолка, копчение, вытапливание нутряного жира, переработка на колбасу, варка холодца — лежало на хозяевах. А пока пили самогон, вылавливая из жира со сковороды куски печенки и обсуждая успехи и промахи сегодняшнего заклания.

Скотину резали «резаки», а не кто попадя. Резак и за столом человек первый, но пользовался первенством осторожно и с достоинством. Потому кусок ему от убоины «на дорожку» резали хороший, величали везде уважительно по имени-отчеству.

Мне было жаль и поросят Васек, и телок Мань. Первым лез в катух выводить скотину хозяин. «Парсенок» Васька покорно и даже радостно выполнял его волю. На улице обреченную скотину поджидал резак с ве-

ревкой и длинным немецким штык-ножом за голенищем сапога. Нужно было на ногу поросенка надеть петлю. И если все правильно подготовлено, то один ловкий рывок переворачивал животное на спину. У хорошего резака и пикнуть поросенку не было времени — только задышливый, клекочущий хрип да судороги.

Понимать действительность намерений людей Васька начинал, столкнувшись за дверью с чужаком-резаком, и почесывания хозяином за ухом, и некормленность со вчерашнего вечера обретали вдруг зловещий смысл, мгновенно пробуждая в скотине дурные предчувствия. Если в эти мгновения растерянности поросенка резак успевал произвести необходимые манипуляции, было хорошо резану и поросенку. А чуть промедлил резак, и обреченное животное начинало борьбу за жизнь. Много бывало крику, тяжелой возни и крови. Ходил у неумелого резака поросенок с ножом в груди по двору с отуманелыми глазами. Кидались на него мужики скопом, пытались повалить, но раскидывал их одуревший от боли и отчаянья приговоренный...

Забивали скот по первым морозам. «К Октябрьской», — говорили, готовясь родной праздник отмечать — «день седьмого ноября, красный день календаря». Политика, не политика, а проникались все.

Во всех дворах истерично, то здесь, то там визжали предсмертно поросята. Следом к небу поднимался светлый дымок. Хотя бензиновые лампы уже в хозяйствах были, палили шерсть на туше соломой, и только для труднодоступных мест разжигали лампу. Тут же мыли, выскабливая шкуру ножами добела. Постепенно поросенок Василий превращался в просто свинину, из которой получится соленое сало с прорезью и другие вкусности. И только резаная рана со следами крови у левой ноги напоминала свершившуюся трагедию умышленного убийства.

С преобразованием птицекомбината в нашем селе в мясокомбинат потребность в резаках стала резко сокращаться, сходить на нет. Сдать скотину на мясокомбинат было делом выгодным. Хорошо подмагарычил приемщика, он тебе организует и прием по хорошей цене, и остальные удовольствия, а что там дальше будет, не твои заботы. Деньги же всегда можно поменять на кусок (следует особо подчеркнуть) свежего мяса, а не солонины с сомнительным душком.

Так вот, мужичка по кличке «Метр с шапкой» знали даже городские. Он был резаком на мясокомбинате. Приезжие прямо на перроне спрашивались о нем у местных. Работал он в убойном цехе на разделке, а дома торговал мясом — «рупь кило». На проходной у него ничего не находили, а может, не искали. Стали в деревне про Метр с шапкой слагать легенды, одна другой неправдоподобней. Раскрыл канал хищения директор мясокомбината Алферов.

Он был большим любителем шахмат и по вечерам с одноруким Федором Сафоновым, директором школы, допоздна засиживался в сельском клубе за шахматной доской, делясь в словесной игре новостями.

— Ты, — держа фигурку коня за голову над доской, говорил Федор Алферову, — слышал я, раскрыл крупного вражеского агента в своем ведомстве?

— Ты про Метр с шапкой, что ли, или про Лунина? — заканчивая рокировку, переспросил Алферов.

— Лунина-то наша доблестная милиция с поличным повязала, — уточнил уже известное всей деревне Федор.

Алферов, иронично скосив глаза и сделав ход офицером:

— А его и ловить-то было нечего! Он бочку с жиром вытолкнул за забор и пока домой катил, две колеи прочертил! И жир всю дорогу подтекал.

Алферов аккуратненько передвинул туру на две клетки вперед, заблокировав обнаглевшую пешку Федора.

— Ты начальство, ты должен был предвидеть ситуацию на два, а то и три хода вперед. Перевел бы вовремя Лунина на любовчинку, он бы не в КПЗ сейчас сидел, а туши б в холодильнике таскал, — ответно пробросил Федор королеву в гущу алферовских фигур. — А вот как ты совершенно секретного вражеского агента вычислил, весьма-весьма было бы узнать интересно.

Сделав ход пешкой на клетку, прикрытую конем, Алферов запер ферзя Федора в гуще своих фигур. Если Федор заторопится, что маловероятно, то может потерять ферзя в обмен на малозначимую фигуру, а не заторопится — разгромит всю вражескую группировку вокруг.

— В конце рабочего дня мимо градириши иду к проходной, — пытаюсь «заговорить зубы» и отвлечь рассказом внимание Федора от серьезностей на шахматной доске, говорит Алферов. — Вижу, впереди, шкандыбая, волочит правую ногу Метр с шапкой — сапог сзади отклячился, штанина задралась, торчит из-под штанины раздробленная нога и часть голой кости. Меня аж зашатало от страха: понажрутса, — подумал, — сволочи водяры в убойном цехе и все им ничо чем. Ведь током бойцы скотину только глушат, а шкуру лебедкой волокут-сдирают с еще живой. Мы глаза на их пьяные лихости прикрываем, иначе в этом цеху никто работать не будет. Шкандыбает он, а я молю: «Пронеси, господи! Только бы за проходную вышел, а там я за него не в ответе». Пропуск, вижу, взял. «Да нет, — думаю, — тут что-то не то: разве может человек с такою раной так долго на ногах держаться, шок-то болевой где?» Окликнул. Вернулся мужик, никакой боли на его наглой роже не написано, хлопает невинно глазницами. «Скидавай, — кричу, — сапоги, раны твои боевые лечить-перевязывать будем». В левом три килограмма мякоти, а в правом — четыре, но с косточкой. Ноги у этого недомерка тридцать восьмого размера, а сапоги носил сорок шестого. Он на этой разнице дом построил, про запас уже начал откладывать и на черный день, но на косточке погорел!

Федор долго задумчиво смотрел в одну точку, вроде как над очередным ходом думал. Потом сказал, положив фигурку своего короля набок и взяв шляпу: «Мне пора».

Немцы в войну выбирающегося из окружения Федора на возу под сеном штыками искололи — проверяли, но он себя не выдал. Все зажило, а правую руку отнять пришлось. Чувствительным и впечатлительным был, царствие ему небесное, наш директор школы Сафонов Федор Алексеевич.

ТРЕБУХА

А вот найти в книге, многое напоминающий мне из детства, такой продукт, как требуха, так и не удалось. И изучение оглавления, и пораничное проглядывание результатов не принесло. Был в оглавлении со ссылкой на страницу 141 «Отварной рубец», и я слышал про него от мужиков при заклании скотины, но о каком органе конкретно шла речь, ни тогда, ни сейчас не знаю.

Мать подолгу возилась вечером с похожей на большую половую тряп-

ку требухой. Мыла, скоблила ножом, опять мыла и скоблила, мыла чуть не добела. Я эстафету подхватывал утром. Все уходило на работу, оставив большую кастрюлю с продуктом на двух кирпичках возле строящегося дома, наказав вынуть требуху по готовности из кастрюли в большую миску, а в кипящий бульон высыпать из кружки пшено и накормить Константиныча.

Константиныч — печник из Вологды, взявшийся сложить нам печь в новом доме. Он вкусно называл кирпич по-своему кирпичком, а глину глиной. Меня — «мольцом». Вешая на шею и завязывая сзади фартук, говорил мне: «Надот, молец, роботат». Все ударения у него приходились на «о», сами слова как-то странно заканчивались. Спал он тут же, в коробке дома, покрытой шифером, с некрашеными рамами в оконных проемах, на досчатой лежанке.

Утром я натаскивал ему с улицы «кирпичок», месил лопатой «глинку» в корыте, подкладывал щепу в огонь под кастрюлю с требухой. В мои поварские дела печник Константиныч не лез. А вот глинку периодически набирал на мастерок из корыта. Наклоняя его, он следил за сползанием раствора. Потом делал свое универсальное заключение «дошло», или «не дошло». Это означало: либо хватит, либо мешать еще. Учился я тогда во втором или третьем классе — сейчас не вспомнить. В пятом-то уже в новом доме жили — это точно.

Где-то ближе к обеду — часов ни у меня, ни у Константиныча не было, желудок подсказывал время — переключившись из кастрюли в миску требуху (очень, я вам скажу, опасная работа), а в бульон засыпал пшено и бросал два оставленных матерью лавровых листа. Аппетитный дух заполнял окружающее пространство. Проникал он и в дом через рамы без стекол. Мастерок в доме переставал скрести и позванивать. Слышно было, как Константиныч в ведре моет руки.

— Пусть «остывает», — говорил печник, когда я ставил перед ним миску с пшеничным супом. Лез он в дебри своего вещмешка, добывал оттуда бутылку вина. Налив стакан, тут же выпивал. Восторженно кричал. Выждав, проводил тыльной стороной руки по лбу и осматривал ее. — Не дошло, — говорил, наливая стакан еще. Выпив, брался за ложку, торопливо хлебал и щупал лоб: — Не дошло, — говорил, выплескивая в стакан остатки вина.

Почему-то детский ум не схватывает суть. Я не замечал ни саму печь, ни изменений с ней происходящих ежедневно, не помню разговоров печника и отца. Мечутся перед глазами картинки тех лет, будто кто страницы перед глазами пролистывает, да всплывают обрывки фраз, целиком же предложения — нет. Странно все это! Тогда меня даже посылали в магазинчик рядом с почтой. Торговала в нем Машка-требуха — так ее величала деревня — требухой, головами, легким, ножками пороссячьими на холодец и многим другим. Я отстайвал в очереди, покупал веленое. И хоть бы словечко памятное оттуда...

Допив бутылку, печник Константиныч дохлебывал суп. Я подносил большую миску с требухой. Отрезав ножом нужный кус, он добывал из недр вещмешка вторую бутылку вина. Налив стакан, ел требуху, густо присаливая. Устало отвалившись, вытирал тыльной стороной руки губы и брался за стакан. После принятия щупал лоб.

— Дошло, «сображат», молец, дошло... — и, полный восторга, показывал мокрую от пота тыльную сторону ладони. Допив вино и доев требуху, он засыпал на своей лежанке. К приходу моих родителей с работы, он лениво шаркал мастерком о ведро с загустевшим раствором.

Позже, развалив творение Константиныча, печь клал воронежский умелец, наобещавший чуть ли не кухонный комбайн сотворить. Закончил печную эпопею Маркович. Длинный и немногословный местный. Работал он на водокачке машинистом парового двигателя. Степенность и знание дела отличало Николая Марковича. Только в обед принимал он маленькую рюмочку спиртного. Работал безостановочно до конца кладки. Лишнюю рюмку себе позволил по окончании работы. И то под давлением отца. Помню, он даже разговорился, а вот о чем?

Марковича давно уже нет на земле, а печь его все служит и служит.

Я с болью в душе закрываю книгу «Кулинарные рецепты». Выйди я сейчас на улицу, спроси любого встречного о том, о том, том... никого из совсем недавно здесь живших и мною упомянутых они не знают. Часть — приезжие, часть родились совсем недавно, часть не считает нужным напрягать память — им самим до себя. Воистину: смертность на земле всемоу и вся стопроцентная!

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ О ШАБАШКЕ

На отцову учительскую и фельдшерскую материну зарплаты жилось не очень-то. Мать прирабатывала мытьем полов в медпункте. Отец, придя из школы, наскоро перекусывал, брал палку с наверху на ее конец крупной стальной гайкой и шел по осенним, а потом и зимним темнам в соседнее село Ольшанку «на шабашку». Он подрабатывал в клубе хударком, проще говоря, готовил деревенскую самодеятельность к выступлениям. Деревенские улицы тогда не освещались, владельцы подворий собак на ночь отвязывали, поэтому ходил отец на спевки с тяжелой палкой. Отмотав семь километров после трудового дня, он поднимался на сцену ольшанского клуба, вешал на плечи баян и шлифовал до ему ведомого совершенства с бабами-доярками и конторскими: «Ленин всегда живой...», «Хотят ли русские войны...», «Степь широкая...» Заполночь возвращался. Царствие ему небесное и вечный покой.

Летом «шабашничали» вместе — отображали на больших планшетах повышенные социалистические обязательства колхозов и совхозов к очередному съезду КПСС, оформляли уличную и внутри помещений наглядную агитацию. Читал ли кто цифирь и тексты, не знаю, но деньги за работу мы получали. Тяжелая это была работа: писать кистью масляными красками тексты. Крупным шрифтом — куда ни шло, но мелкие письма — одно наказание. Спина от полусогнутости и напряжения просто рвалась. Рука ли дрогнет, движение неверным окажется, пока краска не высохла, уберешь тряпочкой огрех аккуратненько...

Шабашничали с отцом где придется и за что придется. Реализация решений съездов и пленумов ЦК КПСС плюс повышенные сообразительности, надуманные в узком кругу, выполненные красочно, заполняли тогда площади и улицы. Шабашки хватало. То за мешок зерна, то за деньги, то за какие-то договорные обязательства сторон трудились. Но труд наш обществом не приветствовался. За глаза всех, кто подрабатывал сверх основного заработка, называли шибаями, халявщиками.

Мне навык шабашничества пригодился несколько в ином направлении — когда учительствовал я в очень глухой, далекой от проезжих дорог деревне. Подрабатывал там ремонтом телевизоров, утюгов и прочей электро- и мотодряни.

Экономист местного колхоза Болтнев Иван Александрович — длин-

ная сухая жердь в широченных галифе и хромовых сапогах, с маленькой головкой над пиджаком — подпряг меня, как парторг, морочить головы местным коммунистам-трактористам политпросвещением. А еще нравилось ему проводить время в моем обществе, поэтому его телевизор не ломался, а барахлил: то полосы вдоль экрана, то поперек. Не успею я, бывало, заднюю стенку снять для обследования внутренностей, как он уже заговорщески шипит: «Бросай, бросай ты его, потом... — картошка стынет. И огурцы я уже порезал». Детки его — мои ученики — бегали мимо. Это было нехорошо и сильно смущало.

Самогон местного производства отдавал хлебным тестом и свеклой, но шел хорошо. Разговоры за жизнь велись хаотично и путано. В основном они умело направлялись в русло подчеркивания нашей хорошеи вообще и наших дел на пользу трудовому народу в частности. Все на максимуме откровения и братской любви друг к другу.

Провожал меня Иван Александрович по осенней (так приходилось) раскисшести и темени домой к бабушке, у которой я квартировал. Чтобы не соскользнуть в полную грязной жижи колею, жались мы к плетням заборов. Иногда Болтнев меня впотьмах терял. Спеша найти, хряско врезался в гниль плетней ограды, или шумно попадал ногой в колею: «Держись, — натужно шептал он, — держись, еще чуть...»

Дважды в неделю мужики после работы собирались в школе. Сидели, как дети, за парты и слушали галиматью в моей интерпретации о событиях в мире, а главное — о великой и направляющей роли КПСС во всех делах и начинаньях. Никто этих положений не оспаривал. Те, на кого падал мой взгляд, если еще не спали, согласно кивали головами. Рвение и серьезность выделяли худощавого, в промасленной до блеска телогрейки бригадира Кудрина от остальных. Он садился за первую парту напротив моего стола, оборачивался и оглядывал собравшихся (положение обязывало), поправлял очки («Он их и на бабе не снимает», — шутили мужики), внимательно меня слушал и задавал вопросы. К концу занятий большинство же, пустив на парту слюну, крепко спали. Мазутно-потный дух и храп плотно висели в классе. Денег мне за это не платили.

А колдуном меня прозвали после случая с трактористом Гревцевым. Выхожу я утром уже за калитку, висящую вкось на Варюхином хозяйкином чулке. Скоро звонок на урок, в голове Иван Грозный и Малюта Скуратов с опричниной, а тут — Гревцев:

— Выручай, а то молоко прокиснет, — протягивает мне магнето.

— Доброе утро, — говорю, — что случилось?

Магнето, протянутое мне, не беру. Как потом с мазутными руками на урок идти, брать журнал, ученические тетрадки!

— Какое тут доброе, — сокрушается Гревцев, опуская руку с магнето. — Заводить пускач, а искры, — он охватывает лапицей магнето, отдельно зажав меж пальцев высоковольтный выход, и резко крутит вал, демонстрируя отсутствие напряжения, — нет.

— Прибор ронял, — спрашиваю.

— Какой прибор? — смешался тракторист.

— Магнето.

— Упаси бог, не ронял.

— Роняй! — и я столкнул прибор с ладони. Магнето глухо стукнулось о землю. На меня Гревцев смотрел растерянно и злобно.

— Мне молоко в Синие везти, а ты в игрушки играть, — наклоняясь за прибором, проворчал тракторист.

— Пробуй, — говорю. В меня уже вселился бес лихости, и я твердо был уверен: магнето искру даст! Чему абсолютно не верил Гревцев. Зажав меж пальцев оголенный высоковольтный провод, он крутнул вал и резко дернулся всем телом. Позевав раскрытым ртом, восторженно выругавшись, добавил:

— Чуть язык не откусил! Спасибо тебе, Иваныч, кому рассказать — вовек не поверят!

И помчался на ферму заводить трактор.

Вывоз молока с фермы на молоканку для жителей деревни и МТФ был важнее, чем это может показаться сегодня. Летом еще так-сяк — эти двенадцать километров можно одолеть и пешком, что я часто делал, но зимой в сильный мороз, да по глубокому снегу или в осенне-весеннюю распутицу... А приходилось! Дорогу эту сравнивал я с тем, чего никогда не видел, с сибирским зимником.

Собирались в путь зимой неспешно и почти торжественно. Трактор с бидонами на санях с фермы въезжал на единственную, но достаточно протяженную улицу. Среди улицы возвышалась водонапорная башня, справа магазин, слева медпункт, что создавало ощущение центра. Здесь трактор останавливался. Тракторист шел завтракать. А в это время со всех сторон неспешно двигались бочкообразные фигуры. Было ощущение, что они «все свое несут с собой», на себе точнее. Но, усаживаясь, сверху еще набрасывали накидку-плащ. В таких необъятных плащах летом пастухи пасут коров. Рассаживаясь домовито и поближе друг к другу, шутили: чтоб в поле ветром не сдуло. Зорко осматривались: «Варюха надьсь собиралась, а чой-то ноне не видать. Не то захворала?» — «Не должно, — голос с другой стороны саней, — утром на ферме была, видать, передумала».

От дома Мишустиных отделяются две не по-деревенски одетых фигуры. «К Андрюхе, наверное, друзья приезжали — не то студенты, не то так, — поясняет бабам на санях плотно закутанная соседка Мишустиных. — Вчерась вон было терпимо, а ноне не утерпеть — ветер так и жжет. Померзнут гости». Задвигались, освобождая место. Чужаков разглядывают с ироничным любопытством и настороженностью. Ребята в легких осенних пальтишках, на ногах «коры» — моднячие туфли на тонкой подошве. До саней еще не дошли, но мороз уже преодолел несущественные преграды их одеяний и начал подбираться к нутру. Вот-вот ударит их неодолимая дрожь. Будут чугунеть они и колотиться неумно. А пока, буркнув приветствие, гнездятся у бидонов, сторонясь сдуру баб, которые уже в пути сжались по-русски над ними и не дадут околеть от холода.

Через несколько минут до ребят дошло, как легкомысленно поступили они, забившись в такую даль в городском одеянии. Там, в конце-концов, можно обогреться в любом ближайшем магазине. Один, ухватившись, потянул трос, торчащий из-под саней, другой, взобравшись на гусеницу трактора, грел ладони на выхлопной трубе. Так пытались они согреться, пока не тронулись.

А уже в райцентре, когда мчались через пустырь, называемый аэродромом, проваливаясь в неизвестно кем и зачем нарытые ямы к домику с полосатым чулком на шесте, мне прокричал один из хлопцев: «По приговору суда или добровольно?» — «Добровольно», — выкрикнул я ему, задышливо хватая ртом воздух. На посадку уже заходил «кукурузник», которому предстояло доставить нас в другую цивилизацию...